

ПАНКРАТОВ

НОЧНЫЕ ПСЫ

Вторая часть трилогии,
начатой романом

ЛУННЫЙ КОТ

Георгий Панкратов

Ночные псы

«ЛитРес: Самиздат»

2021

Панкратов Г.

Ночные псы / Г. Панкратов — «ЛитРес: Самиздат», 2021

ISBN 978-5-532-94501-2

Предновогодние дни. Немолодой мужчина, работник архива, не может забыть девушку, погибшую много лет назад: пишет ей письма, которые никуда не отправляет, а остальное время проводит за чтением и сном. Во снах он путешествует по одному и тому же странному маршруту — в поезде метро, проезжающем без остановки вдоль берега моря — и слышит старую песню, когда-то врезавшуюся в память. Однажды он узнает о некоей особой зоне на отшибе города, где якобы проживают люди, лишённые городских благ и удобств. Повинуясь непонятному порыву, мужчина отправляется в эту зону. Повесть является второй частью трилогии, начатой романом «Лунный кот». Георгий Панкратов — автор журналов «Знамя», «Дружба народов», «Юность», «Новый мир», участник длинного списка премии «Большая книга» в 2020 году. Содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-532-94501-2

© Панкратов Г., 2021
© ЛитРес: Самиздат, 2021

Содержание

27 декабря	9
28 декабря	22
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Георгий Панкратов

Ночные псы

– Ну вот, смотрите. В начале 90-х, например, когда повсюду концентрировался ужас, и у всех в головах был этот ужас, в газетах много писали о сатанизме...

– Точно, сатанизм идеально подходил как модель для описания нового мира, который на самом деле состоялся гораздо раньше...

– Может быть, но я в данном случае не об этом. Вот тогда писали, например, что в каком-то дворе в спальном районе сатанисты – неустановленные, разумеется, поймали котенка и прямо вот посреди дня, на детской площадке, на глазах у прохожих и мамочек с колясками, выкололи ему глаза, а лапы – представляешь – какими-то здоровыми щипцами ему обрезали. И оставили там же умирать.

– Кошмар какой!

– И не говорите! Тот случай произвел впечатление на обывателя. Только, видите ли, в чем дело. Такого случая никогда не было. Его, как и многое другое, выдумал журналист. Писака, если быть точнее. Не знаю, может, приснилось ему, может, фантазии на большее не хватило. Но самое главное – какие-то отморозки, прочитав текст и вдохновившись им, «подвиг» выдуманных сатанистов повторили. То есть автор текста как бы создал реальность, которой без него никогда бы не было, и без которой объективно было бы лучше. Ну, по крайней мере, коту – уж точно.

– «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...»

– Выходит – так. Чем глупее, но при этом страшнее и увлекательнее чушь, тем с большим интересом ее читают. Тем не менее, вопрос: а стоило ли ее создавать, пусть даже до большинства адресатов дошел правильный, если здесь уместно так выразиться, посыл? Зато вот этот побочный продукт, которым стала практическая реализация отморозками того, что выдумала большая фантазия автора, – он *состоялся*. Ответствен ли автор за этот невольно созданный им продукт?

– Любопытный вы подметили момент, конечно... А смотрите, вот вам еще пример... «Американская история икс», помните, фильм был? Классический антифашистский фильм, его даже пропагандой можно назвать, настолько он правильный... Но качественный. И, надо сказать, изобретательный. Там был момент, когда главный герой, пока он еще не исправился как бы, заставил негра лечь на проезжую часть, открыть рот и зубами вцепиться в бордюр. А затем со всей силы двинул ему ногой в голову и повыбивал все зубы. Ужас! И вдруг спустя несколько лет в некоем российском городе, на другой стороне планеты, можно сказать, какой-то местный псих–скинхед повторил этот жест. Ему наплевать на мораль фильма, сюжет, он, может, его и до конца не досмотрел. Но этот художественный акт, с позволения сказать, запомнил. А не было бы фильма – и не догадался бы тот псих до такого, и человек – уж кто там был – не пострадал бы.

– На самом деле, таких случаев полно. Автор, художник, назовем его так, создает не просто текст или художественное произведение, акт, как вы сказали, а именно что новую реальность, и эта реальность не нуждается во всем остальном произведении, да и вообще в самих рамках этого произведения, и в нем самом как авторе. Она уже существует сама по себе.

– А кто знает, может, именно она первична? Ведь именно здесь мы имеем дело с настоящим реализмом. Не авторский замысел, не смысл, не мораль, не какое-нибудь там художественное чутье-нытье. Это она – реальность – пробивается через произведение с целью заявить о себе кому-то, не имея возможности пробиться напрямую. Ведь он-то, автор, полагает, что говорит совсем о другом. В итоге, вроде бы наполненный совершенно другим смыслом, художественный акт становится...

– Да и справедливо ли называть этот акт художественным после того, как он воплощает себя в реальности?

– Именно! Ох, уж мне эти сказочники! Нет, чтобы написать что-нибудь полезное, приятное! Право бы, запретил им писать...

Увлечшись, собеседники не заметили, как в маленьком кабинете, где происходил этот разговор, появился новый человек – неброско одетая женщина, на вид за сорок (впрочем, этот «на вид», конечно, у каждого разный; мы же говорим о двух мужчинах, расположившихся по разные стороны стола, заваленного всякими бумагами). Она хозяйничала на «кухне» – маленьком столе в углу помещения, специально отведенном для чая, кофе, а также бутербродов, печенья, салатиков и прочих нехитрых закусок. Женщина налила вскипевшую воду в маленькую чашку, затем потянулась за сахаром. Красное табло старых электронных часов высвечивало блеклые цифры 9 и 15 – без каких-либо знаков между ними.

– Опоздываем, – сокрушенно произнес, не называя женщину по имени, но очевидно обращаясь к ней, один из собеседников.

– Я гляжу, ни на что важное не опоздала, – устало ответила та. – А вам я вот что скажу. С нашей жизнью только и рассуждать, что о художественных актах.

– С какой такой нашей жизнью? – изобразил удивление мужской голос.

– С нашей собачьей жизнью.

– Хм... Ну это, конечно, возможно, – ответил голос, не меняя эмоций. – Если копать уж слишком глубоко. Но все же на вашем месте я бы поторопился с чаепитием. Вас вызывают в Самый главный кабинет.

– Как так? – растерянно переспросила женщина.

– Просили передать, – мужской голос произнес это как-то виновато, словно давая понять, что он не является инициатором вызова и вообще никакого отношения к нему не имеет. – Надеюсь, ничего особенного, какое-нибудь дежурное обсуждение.

Женщина обтерла руки какой-то тряпкой, нервно схваченной со стола, и с досады швырнула ее в мусорную корзину. Толкнула дверь и вышла в большой коридор. Спешно поправляя одежду, застучала каблуками, ускоряя шаг. Слева и справа мелькали однотипные двери, таблички с разными буквами, сливавшимися в чьи-то фамилии и должности, навстречу шли люди – кто-то из них кивал понимающе, завидев женщину, кто-то, напротив, отводил глаза, а кто-то делал вид, что ничего не знает, а может, действительно ничего не знал. Последних она приветствовала особенно тепло. Встречались и вообще не знакомые люди – они сидели перед кабинетами на редких стульчиках или нервно ходили взад-вперед возле очередной двери – кто-то громко ругался. Кто-то копался в телефоне, жизнь шла своим чередом, не зная о тревоге, поселившейся в сердце неброско одетой женщины случайным сообщением коллеги и усиливавшейся с каждым шагом, с каждым пройденным кабинетом, с каждым встретившимся лицом. У одного из кабинетов она чуть замедлила шаг и даже повернула голову, посмотрев на дверь «невидящим», как говорят в таких случаях, машинальным взглядом.

– Балабол, – беззлобно произнесла она.

Еще через пару дверей, в самом конце коридора, находился Самый главный кабинет. Женщина постучалась, затем, словно что-то вспомнив, нервно усмехнулась, открыла дверь и вошла внутрь. В приемной сидела молоденькая девушка, которая тут же вскочила со своего рабочего места и затараторила:

– Ах, не переодевайтесь – не надо, ради бога, – хотя женщина и не планировала переодеваться. – Проходите так, поторопитесь, вас очень ждут.

Женщина ответила кивком, обошла рабочий стол сотрудницы и подошла к еще одной двери, расположенной как раз за ним.

– Проходите же, пожалуйста, сегодня вызовов очень много, – тихо сказала девушка.

Отворив дверь, женщина вошла в просторное помещение с голыми стенами, выкрашенными в светло-синий цвет. Приоткрытые створки жалюзи впускали в комнату минимум света, необходимый лишь для того, чтобы хоть как-то ориентироваться в пространстве. Впрочем, рассматривать здесь было нечего, да и приходили сюда не за этим. Возле окна стоял стул, а к противоположной стене крепился экран, похожий на телевизор последней модели, если бы не одна деталь: экран был скрыт створками, как в объективах старых фотоаппаратов. Женщина уже бывала здесь и знала, что створки никогда не раскрываются полностью – лишь приоткрываются, являя взору сидящего на стуле сотрудника круг размером с обычную человеческую голову. Спустя какое-то время на экране появляется сам собеседник, называемый так, впрочем, для удобства. Разговора с этим собеседником неброско одетая женщина хотела бы избежать, но когда в Самый главный кабинет *вызывают*, чьи бы то ни было желания не учитываются – и это она также отчетливо понимала.

Женщина расположилась на стуле. Слово *расположилась* здесь тоже могло быть употреблено для удобства, но никакого удобства не было: намеренно ли, случайно, или, может, из экономии, стул для посетителей был самым маленьким из всех возможных стульев (по крайней мере, так о нем отзывались сами посетители), и самым жестким, а если говорить о спинке... да что о ней говорить, когда ее не было! Сомкнув ноги и сложив руки на коленях, как школьница в первом ряду актового зала, женщина на секунду прикрыла глаза и хотела было представить себя на море – это всегда помогало ей в стрессовых ситуациях, но створки раскрылись, и, вздрогнув, она увидела большой глаз – точнее, его изображение на круглом экране. Глаз был нарисованным, или, точнее, созданным в компьютерной программе, но не уступал по реалистичности настоящему, только увеличенному до размеров человеческой головы. Он мог вращать в разные стороны, сужать и расширять зрачок и даже закатываться, выражая неудовольствие. А что-то другое, по опыту общения с ним сидящей напротив женщины, глаз выражал редко.

Некоторое время они неподвижно смотрели друг на друга, видимо, привыкая.

– Здравствуйте, Бездушная машина, – женщина решила заговорить первой.

– Здравствуйте, – произнес голос со стороны экрана. Женщина всякий раз удивлялась, что голос не был механическим, ведь это, по ее представлениям, более соответствовало бы рисованному глазу, да и ситуации вообще. Но глаз разговаривал приятным мужским голосом, как будто бы из рекламы солидных часов, располагающим и в чем-то чарующим, но при этом не терпящим совершенно никаких возражений.

– Поздравляю вас с наступающим Новым годом! – продолжил голос с экрана.

К тому, что ее не называют по имени, женщина уже привыкла. Вероятно, это должно было укреплять в ней мысль, что она только винтик в системе, вполне заменяемый. Но ее всякий раз это нервировало. Впрочем, по словам коллег (большой частью бывших), машина никого не называла по имени.

– Супер! – коротко ответила женщина. – Поздравляю и вас.

В постоянной суете она и запамятовала, что совсем скоро – Новый год. Нет, она, конечно, помнила, что праздник будет, но ощущения этого самого праздника не было.

– Желаю вам всего самого наилучшего, – продолжала диалог машина.

– Спасибо, – повторила женщина. – И вам.

– Как ваши дела? – голос хмыкнул. – В целом?

– В целом неплохо, спасибо. Работаю.

– Это хорошо, – вяло отреагировала машина. – Это хорошо.

– Есть, конечно, определенные неровности, шероховатости, так сказать, – женщина все порывалась начать перечисление проблем, с которыми ей в последнее время приходилось сталкиваться с утра до вечера, с подробным изложением своих версий того, «кто виноват» и «что делать», но все-таки удерживалась: опыт подсказывал, что все эти «доверительные разговоры»

бесполезны, особенно в этом помещении. – Но работаем над этим, устраняем, – она таки удержалась.

– Все правильно, шероховатости и неровности в нашей работе ни к чему, – ответила машина. – Даже так: в нашей работе они особенно ни к чему.

«А к чему вообще этот разговор?» – подумала женщина, но осеклась: в этом кабинете лучше было не думать. У нее еще будет на это время.

– Вы, наверное, понимаете, что вас вызвали не просто так, – снова начал голос.

– Ну, разумеется, – ответила женщина. – Есть ценные указания?

– Указания, конечно, есть... – задумчиво произнес голос. – Но сейчас, к сожалению, придется поговорить не о них.

Женщина вздрогнула.

– Вы же, наверное, знаете, что в нашей отрасли грядут сокращения. Точнее, они уже произошли... первая волна. Но грядут новые. Насколько мне известно, будет несколько этапов сокращений.

«Насколько им известно», – передразнила мысленно женщина. До нее постепенно доходил смысл сказанного, и откуда-то снизу спины по всему телу растекался мерзкий холод.

– Это не чья-то личная инициатива, – продолжал голос, – а необходимость, вызванная, скажем так, интересами отрасли. Мы же сейчас испытываем, насколько вы знаете, некоторый кризис.

– Слышали, знаем, – сказала женщина. – Я правильно догадываюсь, что эта волна сокращений накроет меня с головой? Смоет вообще. Так?

– Ну, это если выражаться поэтично, – без иронии в голосе ответила машина. – А если официально: мы благодарим вас за работу и признаем в вас грамотного и квалифицированного сотрудника, однако на данный момент не можем предложить вам дальнейшее сотрудничество.

Женщина опустила голову и сидела так некоторое время, глядя на собственные руки.

– Когда? – наконец, выдохнула она.

– Мне бы хотелось, чтобы вы отработали новогодние праздники, – с некоторым облегчением произнес голос, – и потом уже...

– Понятно, – оборвала женщина. – Те, кого вы здесь оставляете, ведь в праздники работать не захотят.

– Знаете, зависть – не лучшее качество, – ответила машина.

– Что вы, кому завидовать! – усмехнулась женщина. – Я могу идти?

– Пожалуй, да. Еще раз поздравляю вас с наступающими праздниками.

– До свидания, Бездушная машина, – ответила женщина, поднимаясь со стула. Створки резко схлопнулись, и комната погрузилась в привычный мрак. Женщина открыла дверь и, торопливо проскочив мимо сотрудницы в приемной, отправилась прочь по длинному коридору.

– Ну хоть чай допью теперь, – растерянно сказала она самой себе.

Человек, сообщивший ей о вызове, все так же сидел за столом, но уже без собеседника, и листал мелко исписанные бумаги. Он поднял на женщину вопросительный взгляд.

– Вот нашла бы я автора, который написал про этот художественный акт...

– Какой художественный акт? – изумился мужчина.

– Про мой сегодняшний день, – сказала она отчаянно. – Руки бы оторвала.

27 декабря

Вполне возможно, что большинство людей, долго стоящих на остановке в ожидании транспорта, предпочитают не тратить это время зря и усиленно думают. Кто-то о новом проекте для работы, кто-то о том, как привести в порядок личную жизнь, кто-то о том, как прожить до следующей зарплаты, и все они вместе – конечно, о том, где, как и с кем планируют отмечать приближающийся Новый год. От этого их взгляды производят впечатление осмысленных. Но длинный мужчина в толстых, вопиюще старомодных (а скорее, вообще не принадлежащих к категории моды) очках и шапке с большими «ушами», прислонившийся к холодной стенке остановочного павильона, этого не знал, потому что не умел читать чужие мысли. Да и людей вокруг было мало: они ходили взад-вперед по остановке, а затем не выдерживали и шли куда-то пешком, скрываясь за плотной стеной снега, который обрушился на город. Собственных мыслей у длинного человека не было. Уставив неподвижный взгляд куда-то вдаль, вроде как высматривая транспорт, он привычно «отключался», не думая ни о чем. Такси проплывали мимо, подмигивая ему фарами и зелеными глазками, отчего вспоминалась пошлая песня: «О-о, о-о» – вспоминалась помимо воли, потому что эту ассоциацию однажды вложили в сознание, как условный рефлекс собаки Павлова, и эта ассоциация просыпалась в голове всякий раз раньше, чем просыпалась сама голова.

«Условный рефлекс собаки Павлова», – согревая руки дыханием, пробормотал длинный человек.

Мужчине было около сорока пяти – на вид, опять же, потому что точной информации у меня нет. На такси он, конечно, не ездил, потому что зарплата не позволяла. А может, и позволяла, потому что жил он очень экономно, но по привычке думал, что не позволяла. Такси когда-то стоили бешеных денег в этом городе, но только в нем давно навели порядок, ввели единый тариф и лишают лицензии за несоблюдение, так что попробуй не соблюди. Но длинный человек в очках и шапке с ушами не знал и этого, потому что за новостями не следил: его работа была связана с прошлым, а увлечение – с вымышленным. Он проводил дни в архиве, где был рядовым служащим, катавшим тележки и копавшимся в карточках, а вечера и выходные – за чтением литературных журналов. Занятие странное по нынешним временам, но по нынешним временам само то, что такой человек жил на свете, немножечко странновато. Человека звали Матвей Иванович, он был скромен и немногословен. Всю свою жизнь он прожил в этом городе – как он называл его, Городе, где есть метро. Вот только на метро добираться домой было неудобно, и он упорно стоял на остановке, всматриваясь в снег.

В общем, вовсе не деньги были причиной того, что он пропускал такси, а, как вы поняли, совсем другое. Ведь на такси ездят, когда куда-то торопятся, а он никуда и никогда не торопился. Ему не к кому было спешить: Матвей Иванович жил один.

Покачиваясь, из снежной завесы выкатился троллейбус – одной из самых старых моделей, «холодный» – безошибочно и разочарованно определил его длинный человек. Водитель остановился и раздумывал, открывать ли двери, настолько нерешительным выглядел человек в шапке с «ушами»: поднявшийся ветер смешно трепал их, очки почему-то перекошились, но человек и не думал их поправлять. Конечно, решительность – совершенно не то качество, без которого не зайдешь в троллейбус, все было проще: Матвей Иванович просто не сразу сообразил, что троллейбус уже стоит на остановке – такое случалось с ним и раньше. Для человека, чья квартира забита всеми возможными литературными журналами, выходившими в разные годы и в разных городах, – и ведь прочитанными, что самое сумасшедшее! – это было в порядке вещей.

– Молодой человек! Молодой человек! – чей-то голос заставил его вынырнуть в реальность из мысленного небытия и обнаружить открытую дверь троллейбуса.

– Пожалуйста, помогите мне, будьте вы так добры, подняться в этот троллейбус, – голос обращался явно к нему, и мужчина наконец обратил внимание на низенькую запыхавшуюся старушку с дряхлой сумочкой в руках.

«Молодой», – криво ухмыльнулся он, но тут же изобразил что-то приветственное на лице: «Да, да, конечно». Кряхтя и охая, старушка облокотилась на сильную – как ей хотелось думать – руку Матвея Ивановича, тот ступал осторожно по ступенькам и с тревогой поглядывал на старушку: помогать кому-то он не любил. И вовсе не потому, что был черств душой или озлоблен – нет, просто любое участие в чем-то общественном, контакты со случайными людьми вызывали в нем тревогу. Он и хотел помочь искренне, но не знал, как это правильно делается: за что ухватить коляску, чтобы помочь молодой маме, как правильно взять под руку ту же старушку? Так и представлял, как рассерженные пассажиры выкинут его из салона, да еще с криками: ты, мол, придурок, что ли. И как будет смотреть недоуменно и зло человек, нуждавшийся в помощи. И до тех пор, пока он опять не вернется в комфортное небытие (что неизменно случится через пару минут), Матвей Иванович испытает много дискомфортных ощущений – угрызений ли совести, стыда от того, что показался людям глупым и нерасторопным – да какая разница, как это называть? В обществе почему-то ценилась активность, хотя и было совершенно непонятно почему, с какой стати.

Но в салоне троллейбуса никого не было, и Матвей Иванович, приободрившись, проводил старушку до ближайшего сиденья, на соседнее поставил ее старую сумку. Только сейчас он смог рассмотреть: глаза старушки были заплаканы.

– Что ж это с вами?

– Со мной? – старушка удивилась. – Со мной все в порядке. А вы-то вот что такой кислый?

Подобный вопрос Матвею Ивановичу иногда задавали – когда приходилось общаться с теми, кто его плохо знал. Всякий раз или изображая удивление, или просто терпеливо и спокойно ему приходилось объяснять, что он, мол, «вполне обычный», он-де «всегда такой». Разговоры эти раздражали: ну почему нельзя принимать человека таким, какой он есть, тем более что в обществе, если верить телевизору, быть собой – чуть ли не главная ценность. А он, Матвей Иванович, оставался собой всегда, ну так что же? Да и не кислый он был, а действительно... обыкновенный. Обыкновенный человек. Но спорить с заплаканной старушкой ему вовсе не хотелось, и он сказал:

– Да я-то ладно. А вот вам нельзя... – он подбирал слова. – Нельзя расстраиваться.

– Да это почему же? – взвилась старушка – Мне уже все можно, это вот... Вы молодой, вам нельзя быть кислым. Так и жизнь пройдет, и не заметите!

– Да прошла уже, – Матвей Иванович махнул рукой. – И ничего. Я много прочитал, – почему-то сказал он.

– Эх, прочитал он! – воскликнула старушка. – Чего читали-то?

– Журналы, – сказал Матвей Иванович.

– Ой, журналы! Небось, с картинками-то? С бабами голыми? – старушка играючи ткнула его пальцем в бок, отчего ему стало не по себе, и он присел на соседнее сиденье. Разговор со старушкой начинал ему надоедать.

– Толстые журналы. Тол-сты-е, – уточнил Матвей Иванович.

– Ну конечно, толстые. Картинок-то, небось, больше, – не унималась бабушка. – Оттого и очки-то воон какие огромные... толще, небось, чем журналы! Поправили бы, кстати, болтаются как... – тут старушка и вовсе сказала такое, отчего у Матвея Ивановича чуть не свернулись уши.

– Послушайте, – поморщился он, но очки действительно поправил. – Ну послушайте же. Вы попросили помочь, вы явно плакали, у вас что-то случилось. Какое имеет значение, что я читаю?

– Троллейбус следует в парк! – раздался оглушающий голос водителя, и старушка тут же всплеснула руками:

– Ой, как хорошо-то, как здорово!

Улыбнулся и Матвей Иванович: дело в том, что ни один троллейбусный маршрут не доходил до его дома. Остановка была на соседней улице, и ему приходилось идти через несколько перекрестков домой. Но зато на его улице находился троллейбусный парк, и, если редкий троллейбус отправлялся туда, Матвей Иванович каждый раз просил водителя подбросить, и выходил практически у дома.

– Как все хорошо-то, как по-новогоднему, – радовалась старушка.

– Ну вот, – машинально сказал Матвей Иванович, – вместе, значит, выйдем.

– Поможешь мне, чай?

– Непременно, – отозвался Матвей Иванович.

– А что плакала, так это... Выгнали с работы меня. Представляете, перед самым новым годом! – она потеряла руками глаза, хотя слезы уже давно высохли, но снова начала нервничать. «Только бы снова не расплакалась», – подумал Матвей Иванович. – Кошмар какой, что делается. Разве можно, думаю, с людьми так. Праздники, радость, веселье... Да и вообще... Жить-то теперь как... Вот тебе и «с новым счастьем»!

– А кем вы работали-то?

– Этим... прохрому... промау... Про-мо-у-те-ром, короче. До сих пор не понимаю, че это значит.

Матвей Иванович, конечно, знал, кто такие промоутеры, и, конечно, не любил их. Но и жалел: по его представлениям, хуже работы с людьми вообще ничего не могло быть, а еще и платят копейки. «Самая несправедливая работа на свете», – думал он о промоутерах всякий раз, когда встречал их.

– Вы что же, эт... листовки раздавали?

– Да нет, ходила с такой... Короче, повесишь табличку на шею, как в лагере немецком, и ходишь как дура. Ну, если чего спросят, скажешь. Но никто ничего не спрашивал.

– И чего ж уволили?

– Не знаю, – с грустью сказала старушка. – Уволили, и все тут. Захожу, а там девочки сидят такие нарядные, крашенные, молоденькие все – ну, офис наш. Увольняйтесь, говорят, и смеются, между делом, обсуждают, кто и с кем куда пойдет. На Новый год, значит. Кто каких подарков ждет. Ну а мне старой, один, значит, подарок. Я и говорю им: девоньки, миленькие, да какой же увольняться, Новый год! А жить как? Разве я плохо работала? Нет, говорят, работала ты отлично, да только больше не надо. То есть как, говорю, было надо, а стало не надо? Ага, говорят. Нерентабельность. Денег ты, мол, не приносишь, а только жрешь. И решил начальник перед новым годом, что надо бы на чем-то сэкономить. Ну вот, – подытожила старушка, – и сэкономили на мне...

Троллейбус свернул на тихую улицу со знакомыми домами, окошками, дорожными указателями. Матвей Иванович невольно улыбнулся: скоро будет дома.

– Ну а чем же вы там... торговали-то? – спросил он ради приличия.

– Еду для собак продавали... Да уж, – она вздохнула... – А сами поступили как собаки.

– Это точно, – поддержал Матвей Иванович. – Как псы, я бы сказал. Сейчас ведь все как дикие псы: последний кусок урвут. Лишь бы самим набить брюхо, – он сам удивился собственным словам. Но тут же подумал: «Сказать же что-то надо». Да и, наверное, так все и есть, успокоил сам себя напоследок. Правда, старушка не заметила его сомнений: за годы работы в архиве и чтения толстых журналов Матвей Иванович волей-неволей приобрел лицо, на котором не отражалось никаких эмоций, мыслей – такое, всегда спокойное, и всегда одинаковое – может, это и не лицо он приобрел, а состояние души такое: нечему на лице отражаться.

– Псы... – повторила бабушка. – А у меня, глядишь, тоже есть пес. Только он добрый. Кормить-то его тоже надо... Эх, – вздохнула она и принялась вставать.

Троллейбус проехал перекресток и остановился. Матвей Иванович взял сумку старушки и помог ей спуститься. Дверь закрылась, но троллейбус не торопился уезжать. Только погас свет в салоне. Все вокруг завалило снегом, и хлопья, плотные, огромные, но отчего-то приятные, сыпались с неба, как овсянка из картонной коробки – в тарелку с молоком, какой, может быть, в тихий этот час и представлялась земля, в особенности их крохотный участок из нескольких улиц, откуда-нибудь сверху. Он поднял глаза, но очки тут же залепило, пришлось снять и срочно протирать, чтобы хоть что-то увидеть: без очков Матвей Иванович был совсем слеп.

– Вот так, не нужны, говорят, больше, – причитала старушка где-то рядом, и в то же время бесконечно далеко, за сотни тысяч снежных миров от него, архивиста Матвея Ивановича, читателя толстых журналов. Они жили здесь, рядом, и никогда не видели друг друга. Поздний троллейбус свел их вместе, потому что ничего, кроме позднего троллейбуса, их свети не могло.

– Да, – растерянно сказал Матвей Иванович на прощанье. – Странно Новый год начинается. Все всем не нужны.

Ускоряя шаг по направлению к дому, он вспомнил, что и сам-то давно никому не нужен. От этого не стало тяжелее, от этого вообще ничего не стало.

*Ночью за окном метель, метель,
Белый беспокойный снег.
Ты живешь за тридцать земель,
Ты не вспоминаешь обо мне,*

– раздался приглушенный мягкий звук из теплого окна на первом этаже. Решетки на окнах надежно защищали уют квартиры, защищали и саму песню, само ее право на звучание у каких-нибудь добрых и наверняка симпатичных людей. Защищали и от него, Матвея Ивановича. Песня звучала там, по их сторону решетки, а по его – хрустел снег под ногами, искрился в свете ночных фонарей.

Ничего не изменилось. Просто шел человек по вечерней улице, что-то подумал, натянул «уши» смешной своей шапки, чтобы стало теплее, повернул за угол дома и растворился, исчез. Так исчезаем все мы, только об этом не знаем, потому что не посмотрим на себя со стороны.

А вот в квартире своей – на последнем этаже скромной панельной пятиэтажки – Матвей Иванович, наоборот, появился. Квартира была однокомнатной, но довольно просторной – сложно сказать, сколько астрономических лет пришлось бы работать Матвею Ивановичу в архиве, чтобы заработать на эту квартиру, сколько жизней прожить – со счету собьешься. Но Матвею Ивановичу повезло, что у него были родители, и относительно недавно, а для истории так вообще все равно что вчера, был Советский союз. Совмещение этих фактов и благодарил Матвей Иванович в мыслях всякий раз, когда случайно узнавал о ценах на жилье. Суммы забывались сразу же, потому что не казались ему реальными, он не оперировал этими суммами в реальной жизни, как не оперировал суммами, за которые приобретаются острова. А потому цена квартир и стоимость острова где-нибудь в Тихом Океане были для него величинами одинаковыми. «Равноудаленными», – говорил он сам. Проще было с машиной: ее тоже не было, но Матвей Иванович знал, что купить ее можно – если вдруг потребуется. Накопить, взять в

кредит – но можно. Эта мысль грела душу, хотя и слабее, чем какой-нибудь журнал «Октябрь», получая который, он весь светился от радости – внутренним, тихим светом.

Лампа в прихожей, которую включил, зайдя в квартиру, озябший Матвей Иванович, светила ярче – но это был свет, чтобы выжить, а там, в журналах, был свет, чтобы жить. Он поводил носом, наслаждаясь приятным запахом озона – простые радости были доступны Матвею Ивановичу, и тем они были радостнее, чем меньше рядом находилось людей. Настоящее и единственное наслаждение он испытывал только здесь, дома, заперев дверь.

Матвей Иванович не был чужд обыкновенным представлениям о том, что должно быть у человека, чтобы чувствовать себя счастливым. Ценности общества были просты и понятны, в отличие от ценностей, которые искали неведомые ему авторы тех же журналов. Там счастье если и появлялось ненадолго, то все равно лишь затем, чтобы ускользнуть от человека. И даже если схватил его за хвост – оно в последний момент обязательно выпорхнет, как птица, или выскользнет, как ящерица, чтобы потом явиться человеку вновь еще в тысячах других обликов, и можно всю жизнь потратить даже не на поиск такого счастья, а просто на понимание того, какое оно вообще – да так ничего и не понять. А тут все просто: хорошая квартира, хорошая машина, хорошая одежда, хорошая еда. Ценности если не всегда достижимые, так хотя бы понятные. И противопоставлять себя им, как многие в тех журналах, бьющие себя в грудь, кричащие что-то ему со страниц, Матвей Иванович был не дурак. Да и вообще: зачем кричать? Ведь страницы все одинаковые, кричи – не кричи. И, признаться, журналы-то ему нравились всё больше из-за самих страниц, а не из-за криков: приятно подержать в руках, полистать, во что-то вдуматься, от чего-то откреститься, но главное-то, главное – забыть. И отложить, постепенно переходя из журнального забвения в постельное – погружаясь в сон, и пусть себе орут дальше, упершись в тяжелую стену страниц, покрытых черными буквами, и пусть перекрикивают буквы друг друга, все это уже не волновало Матвея Ивановича: он прочитал, он ознакомился. Он *забылся*. Многие пьют водку, Матвей Иванович не пил вообще. «Не всем дано», – отвечал он на редкие предложения.

Так отвечал он и себе, когда в вынужденных промежутках между одним забвением и другим – в перерывах на работе, например, вспоминал, что из этих человеческих ценностей у него есть только квартирка, да и то лишь потому, что родителям не понравилось жить в Городе, где есть метро, – и они уехали туда, где нет ничего. Временами его звали в гости, но зачем ехать туда, где ничего нет? Потом перестали. Они и выписывали когда-то давно журналы – которых было меньше, чем сейчас, но те, старые, были основательнее, читали их важно и даже обсуждали за столом. Правда, родители относились к журналам без должного трепета: выписывали все – по крайней мере, в их кругу – ну что же, и они выписывали. Могли «пропустить» целый номер, отправить в мусоропровод непрочитанным. А он, ребенок, ходил вокруг журналов, часами листал их и мечтал... мечтал, что когда-нибудь попадет в них, когда-нибудь и его фамилия... жизнь... мысли... это было невероятно, от этого захватывало дух. Нет, ему было мало стать автором – он хотел переселиться туда, в журнал, жить там. Он хватал родителей за руки, когда те несли журналы на помойку, и громко кричал:

– Нельзя, нельзя!

Это потом он узнал о квартирах, машинах, хорошей еде. Тогда же, когда узнал о женщине, – и, видимо, от нее. Сейчас, в своем нынешнем возрасте, Матвей Иванович уже ничего не кричал. Он старался жить тихо: ведь чтение журналов любит тишину. Он не считал себя неудачником, не считал себя обделенным – но просто однажды признал, что у него чего-то, конечно, не будет. Ну и ничего страшного, жить можно. Жить можно – нет, скорее, жить нужно. Жить – это такая обязанность, считал Матвей Иванович и думал про себя, что с этой обязанностью справляется. Хотя будь его воля, он бы только сидел и читал – не от лени, а от мерцавшего где-то глубоко внутри осознания, что настоящая жизнь есть именно это плавное течение информации по невидимой тонкой нити, соединяющей лежащий на столе журнал (набитый

приключениями, любовью, войнами – все это наполнялось смыслом для него и обретало интерес, лишь становясь словами, преобразившись в текст) с его глазами – нет, непосредственно, через глаза с ним самим. А кто он, что он? – этими вопросами Матвей Иванович задавался, только когда уходил в особое особенному забвенье – оно было сильнее журналов, если что-то сильнее вообще могло быть.

Ведь там, в этой шкале, которую он выучил, был еще пятый элемент – для общества очень важный. Хорошая личная жизнь, семья. Сложившаяся, состоявшаяся. Матвей Иванович долго смотрел в окно, грея чайник. Рядом стоял электрический, но он любил обычный, неторопливый, на медленном огне.

«Все должно быть медленно, – думал Матвей Иванович, глядя на снежинки за окном. – Медленно и тихо». Так же – медленно и размеренно – работал и его мозг, и ничто, даже экстренная ситуация вроде пожара или потопа, не смогла бы заставить его двигаться быстрее. Ему часто казалось, что мозг покрыт воском или какой-то надежной пленкой, что он герметично запакован, и, может быть, ему душно, он еле дышит. Но работает, успокаивался Матвей Иванович. Мысль – значит существую, – проговаривал он на пустой кухне.

Он прошел в комнату, выдвинул стул, поставил чашку с горячим чаем и открыл ящичек письменного стола. Достал тетрадь, вырвал страницы посередине, взял шариковую ручку и закрыл глаза. Нужно было настроиться – ведь предстояло *говорить*.

Разговоры вообще казались любителю толстых журналов пустым занятием. Жизнь научила (пусть он и не любил это слово, не считая, что жизнь учит) Матвея Ивановича, что разговоры никогда ни к чему не приводят, они – лишь сотрясение воздуха. Так не проще ли обойтись без них, не вырывать человека всякий раз из собственных мыслей или просто спокойствия. Зная эту особенность, даже начальник его на работе, Виктор, предпочитал беспокоить Матвея Ивановича только по сверхважным делам, а потому как таких дел в большинстве случаев не находилось, Матвей Иванович мог неделями обходиться молчанием, погруженный в свою медленную и монотонную работу.

Писать Матвей Иванович тоже не любил, считая это тем же разговором: слова давались ему тяжело. Но что-то всякий раз заставляло его проделывать усилия, переламявать, заставлять себя и, усевшись за письменный стол, тянуть руку не к очередному журналу, а к тетрадке. Он подолгу сидел, теребя ручку, над вырванным листом, словно пытался увидеть в нем не линейки с клетками, а новые вселенные, далекие миры или какую-нибудь параллельную реальность. Но реальности там не было, а были только клетки – до тех самых пор, пока Матвей Иванович не выводил старательно первую букву. Такая привычка осталась у него со школьных лет – выводить, вырисовывать первые слова на листе, словно боясь надругаться над его чистой неаккуратными, грязными буквами. И лишь затем, в процессе письма забывал об этом, сбивался на корявый грубый почерк.

Компьютера у него не было, и Интернетом он не пользовался никогда – Матвей Иванович не доверял всему новому. Он даже из журналов предпочитал «Юность» и недолюбливал «Новый мир» – его страшило второе название и успокаивало, обволакивало первое. Была еще «Новая Юность», но ту он вообще не знал, как воспринимать. Вроде и спокойно, но в то же время как-то тревожно.

Вспомнив что-то важное, Матвей Иванович встал из-за стола и подошел к мебельной стенке. Вообще же, вся мебель в квартире была «родом из восьмидесятых», оставшаяся от родителей, о покупке новой хозяйин не помышлял – просто в голову не приходило. Открыв стеклянную дверцу, он протянул руку к коробке, снял пыльную крышку и достал несколько карточек – так и стоял несколько минут, перебирая их и вздыхая – затем взгляд остановился на одной и даже на мгновение потеплел, губы Матвея Ивановича дернулись, словно готовясь разойтись в улыбке. Но тут он словно передумал, «погасил» случайный импульс, пущенный мозгом. Матвей Иванович вернулся за стол и повертел карточку в руках, рассматривая изоб-

ражение. Еловые ветки на синем фоне, на ветках – разных размеров и форм снежинки. Те, что помельче, – простые, как буква Ж, дополненная еще одной, поперечной, линией, более крупные уже тщательно отрисованы, узорные, морозные, симметричные, как на замерзшем окне троллейбуса, в котором он ехал сегодня. Они складывались в причудливые комбинации, создавая впечатление искрящего, кружащегося снега. А на ветках сидели птички с черными носами-клювами, глазами-бусинками и круглыми пузиками – красным, оранжевым, желтым. Нарядные, праздничные птицы – скворцы, наверное, думал Матвей Иванович, или снегири – он не отличал их, к своему стыду... нет, к своему безразличию. Только одна единственная птичка – ласточка – не сидела на елке, а летела над ней куда-то вдаль, ухватив маленьким клювом огромную, больше нее размером, ледяную снежинку. Украшала изображение витиеватая надпись в нижнем углу: «С Новым годом!» Это была простая советская открытка. Повернув ее, Матвей Иванович обнаружил то, что ожидал: пустые строчки для адреса, прямоугольник под марку, смешная цена в копейках. Он взял ручку и, крепко зажав ее пальцами, быстро, но старательно вывел на чистой поверхности открытки, поперек линий: «Тебе». Затем отложил ручку и стал рассматривать результат своего труда, временами с силой жмурясь, как от боли. Убедившись – или мысленно убедив себя – в чем-то, он откинулся на стуле и снова открыл нижний ящик стола, извлек конверт – современный, практически без опознавательных знаков, вложил подписанную открытку и отодвинул конверт в сторону, на дальний угол стола.

Теперь ничего не мешало приняться за письмо или, как считал в этот момент сам Матвей Иванович, за *разговор*. Впрочем, нет, кое-что все-таки мешало – происходило это всякий раз, когда он брал ручку и чистый лист, но так и не научился справляться с этим мерзким ощущением немедленно, тут же, хотя знал, что все равно преодолет его: перед самым началом письма. Перед первой строчкой наваливалось жуткое ощущение того, что занятие, которому он собрался посвятить ближайшие минуты – глупое, бессмысленное, а то и просто ненормальное. «Ведь так не должно происходить, – вертелось в голове – Почему я все это делаю? Почему я живу так?» Это ощущение было почти физическим – Матвею Ивановичу казалось, что его придавит сейчас, словно камнем, и уж после этого – что бы там ни произошло, но он точно не напишет ни строчки, *не скажет ни слова*. Матвей Иванович понимал, что есть только один способ не оказаться раздавленным, смятым, уничтоженным – немедленно начать писать.

«Сердечная!

Вот наступили новогодние дни, потому пишу. Никак не могу не вспомнить тебя в эти дни. Да и, в общем, я ж тебя и никогда не забываю.

Надеюсь, тебе понравится моя открытка, придется по душе – когда были мы, были только такие, помнишь? Мне нравятся те открытки, там зайчики и белочки протягивают друг другу корзинки, наполненные конфетами, и все улыбаются, и рядом снеговик с таким большим солидным носом-морковкой и нелепым ведром на голове. Он приглашает в новогоднее путешествие – куда-то кататься, ехать, веселиться, наверное, кидаться снежками друг в друга – смешно, да? Снеговик, и вдруг снежками! – и есть конфеты, и водить хоровод вокруг елки – обязательно живой, в лесу, и наряженной. И ежик тут с большим яблоком на спине, птички разные – вся большая компания. Новый год!

Как люблю их всех! Когда смотрю, сжимает сердце – разве может такое быть сейчас, когда взрывают троллейбусы, режут водителей на перекрестках за то, что не уступил дорогу, бомбят целые города. Потому и нет белок с ежиками, они попрятались все. Все остались там. И я остался там, и мы.

В детстве у меня была большая елка, до небес, с огромной звездой на вершине. Сияла звезда, сияла жизнь. Сейчас даже нет елки – и зачем она мне? В пустом доме будет глупо, если я примусь наряжать. Нет, никакой елки. Потому что и Нового года-то никакого нет, а как хочется иногда. Бывает, что очень хочется... Особенно так в этот год, раньше привычной было.

Обычно у меня здесь тихо – во дворе и на улице, даже в эти, новогодние дни. Настроение портилось немного – надо праздновать, именно что надо, а не с кем. Беда! Так бы и сидел спокойно дома, но, когда все празднуют что-то, а ты нет... Настроение портится. Уснуть не мог. В поисках, куда бы себя деть, выходил, шатался по улицам. Хожу и смотрю вокруг, что происходит, кто навстречу идет, что говорят, обсуждают. Прогуливаюсь. Наверное, так будет и в этот раз. Новый год для человека, который живет один, – пытка. Только в эти дни и хочется быть с людьми. Просто раньше, знаешь, было ощущение, что надо праздновать, – но никак; а вот теперь есть ощущение, что и не надо – а хочется. И знаешь, чего хочется? Тех зайчиков, белочек и их корзинок. Это называется «душевное тепло», а может, как-то еще. Люди выдумывают всякие названия тому, чего им не хватает.

Но, конечно, никакого Нового года не может быть без тебя. Да и какие тут белочки – только собаки иногда во дворе ходят – злые, недовольные псы. Жрать им нечего. Они совсем не новогодние. Да и ты знаешь, как я к собакам после того, как с тобой... тогда...

Такая, конечно, проблема... У тебя ведь там, наверное, посерьезнее. Как я могу знать? Но и мне – не очень, не очень легко, скажу тебе. Смутно. И люди вокруг, и с общением плохо, и без – плохо. В остальные-то дни всё немного не так.

В остальные-то дни я, знаешь, что думаю? Ах, если бы только на лбу у меня вырос рог! Только представь! Крепкий, прямой, сильный, устремленный к самому небу, к самому Солнцу, острее всего на Земле острого, да такой, чтоб ни одна мощь мира не способна была сломить его! Да живой, ощущаемый всем моим телом, продолжающий и украшающий его. Неотделимый, как сердце, как ты от меня – неотделимый!

Я наклонял бы голову и пропарывал их животы. Или пронзал бы грудь, или стремительно протыкал шею. Я поднимал над землей бы их, на этом роге своем, крепком, как стержень мира. Я бы тряс головой неистово, из стороны в сторону, и отбрасывал их, недвижимых, на асфальт. Всех этих, идущих навстречу. Идущих мимо.

В вагоне метро, в салоне троллейбуса пахнет скорбью. У людей как будто нет глаз. Их губы если и шепчут что – только слова брани, автоматической, не осознаваемой даже как брань. Я слышу брань и от себя – не произношу, а слышу. Такие скорбные русские понедельники.

Вот, старушка одна раздает газету. Я вижу ее каждый день. Все подмывает спросить: «Старушка, что ж ты не плачешь?» Ей страшно, я вижу, ей горько и безысходно. Ее затопчут когда-нибудь, выхватывая газеты, руки тянутся к ней: только успевай, успевай отодвинуть новую. А кто видит ее лицо? Я иногда задерживаюсь возле нее и думаю: она ведь писала сочинение «Кем я хочу стать». Что она там писала? Как она чувствует время, жизнь? – иногда я хотел бы понять. И тогда забываю про рог. Мне хочется всех благ для всех хороших людей, если честно. Люди ведь так страдают. И если б наше страдание было хоть как-то оправдано, если б оно было хоть зачем-то!

Или, сейчас вот, в троллейбусе встретил другую старушку – она работала промоутиром, представляешь. В свои года! А что пенсионеру делать – пока не упадет, как заведенная машина... Правда, не уверен, знаешь ли ты, что это такое – промоутер. Ведь когда мы расстались, промоутеров не было, были зайчики, были корзины с конфетами. Дебильное, согласишься, слово? Когда я впервые услышал “промоушн”, думал это промывание ушей. Да и по смыслу вроде подходило... Хрен с ним, тебе лучше не знать такого.

Нет, у меня не получается быть злым. Это не злость, сердечная, это скука – когда от рога до сопереживания, от сопереживания до рога...

У меня рабочий день заканчивается в 16-45 по пятницам, я ж у тебя государственный работник у тебя. Но сегодня я припозднился. Все копался в архиве, собирал документы. Что бы ни делать, лишь бы не с людьми. Работа как работа, не люблю ее, но там нахожу себя, забываю, что надо жить. Одна тележка с документами весит 20 килограмм, ты знаешь? Покатай таких за день... Но я не кладу много: лучше поезжу несколько раз, чем надрываться буду. В дверях

приходится подсуетиться. А в лифте вообще приподнимать ее и так держать, чтоб колесо не застряло в щели. Сегодня думал о тебе. Бывает, что, когда катаю, ничего не думаю. Бывает, вспоминаю что-то из журнала. Ну вот примерно так и живу. О тебе, конечно, думать самое приятное. Только, бывает, отвлекают.

У них ведь знаешь, какая мода сейчас? Восстанавливают родословную. Как собаки, ей-богу – только на шеи медальки не вешают. Каждый день по 15 заявок, целая профессия появилась – генеалогические агенты. Ну, или как-то они называются там, а для меня они все – агенты. Кто чепухой занимается и за это деньги дерет. У нас от них отбоя нет, с пяти утра стоят, из городов, где нет метро, приезжают. Мы за год больше тысячи запросов получили, и это не считать если старых, с которыми уже возились. А десять лет назад гораздо меньше было. Ну а когда были мы... Когда были мы – я не знал обо всем этом, я был счастлив.

А тот Новый год, который встречали с тобой. Единственный... Ты ждала меня дома, прижавшись носом к окну. А я шел и улыбался тебе... Твои родители как раз куда-то уехали, и это было чудом. А потом уехали и мы. Сбежали, помнишь? И это было чудом. Тогда вся жизнь была чудом. А сейчас мне странно чувствовать себя живым. Именно так: странно. Без всяких дел, по инерции, без динамики... Все время вспоминая, что с тобой случилось так... Я мало говорю, да и не думать стараюсь – только когда пишу тебе. Именно так и зная, что ты...

Там, где ты сейчас, Новый год, наверное, ведь, не празднуют? Нет традиции? А может, празднуют? Я вот сижу, об этом гадаю – смешно. Абсурдно, глупо – что бы про меня подумали все эти люди, мимо которых я вожу свои тележки, если б знали, что за мысли прочно живут в моей голове – ну и что же? Что мне делать еще, как не думать их? Разве читать.

Но я жду, что ты дашь мне знать. Понимаю, что схожу с ума. Я вот так пишу, потом подхожу к балкону, кружусь по комнате, на часы свои смотрю, журналы бесконечные, и думаю так: надо ущипнуть себя. А толку? Понимаю, что здоров. Понимаю, что не сплю. Сон-то с явью, знаешь, сложно перепутать. И тем не менее, я верю – часто верю: ты ответишь. А почему бы нет? Хоть как-нибудь дай знать. Позови меня к себе. Ведь ты же можешь? Здесь очень тихо, здесь снегом залепило все окна, а там, где ты, – там тоже, наверное, снег? Наверное, там его еще больше, там бесконечное сияние белизны, и вообще ничего нет, кроме белого света – как в песне Высоцкого, помнишь, мы слушали? Ну, я, в основном, слушал...

Я хочу к тебе, но очень боюсь. А вдруг мы не встретимся? Вдруг никогда не встретимся? А может, и не было ни тебя, ни меня, ни нас, в конце концов?

Однажды мне приснился сон, что я умер. Только почему-то не испугался. Наверное, потому что не сразу понял. Я ходил – представляешь – в театры, хотя в жизни никогда моей ноги там не бывает – по улицам, продукты какие-то покупал, ну, на работу приходил, конечно, как же без нее, ведь хоть и сон, а работу-то никто не отменял. И так очень долго. Ну, правда, по меркам сна, пока мне не сказали, что я умер. А кто сказал – не помню, я и в жизни-то людей не различаю. По мне, они все одно, особенно с кем работаю. И я увидел, что изменений-то особых нет, как будто ничего и не случилось – как жил, так и живу. Даже умер – и то не заметил.

Ну а потом мне объяснили – ты представляешь – что это все временно. Ну, что-то вроде испытательного срока или... ну, не знаю, адаптировался чтобы. Привык, понял, что ничего страшного нет в смерти-то. И вот потом уже начинаешь разлагаться. Сижу я в том же театре, и вижу, что рука моя насквозь сгнила и скоро, мол, отвалится. Да ну и, думаю, хрен бы с ней, но ведь люди вокруг, приличные, наверное. Театр же. Хотя, ты знаешь, и театры сильно изменились... Но если б я на сцене был – тогда нормально, там такое можно. А вот в партере... Правда, осмотрелся – людям все равно, как будто ничего не происходит, всё окей, как говорят. Побежал в уборную и в зеркало смотрю: как и предполагал, с лицом серьезные проблемы – все разлагается, уродливое все, и кожа расплывается по швам, и вонь стоит. Хоть и не чувствую, но ведь наверное. Но я уже адаптировался: ведь умно там у них придумано – это во сне так рассуждаю – я ж уже знаю, что умер, а для мертвеца разложение в порядке вещей. Другое дело

– для живого, конечно. И тут я понял, что главное – скорей избавиться от тела. Мертвец какое-то время привязан к телу, а как избавиться – то все, свободен. Так и вышло.

И полетел я с ангелом своим, или проводником – я не видел его, только чувствовал – в какой-то огромный город. Это, конечно, серьезное чувство, знаешь, летать над горами и реками – там все почти как у нас. И говорит мне: вот город, ты будешь там жить. И показывает своей ангельской рукой, которую я не вижу. А город на самом деле красивый, прям как у Гребенщикова, помнишь, мы слушали? Ты, в основном, слушала... Золотой-золотой! Но рассмотреть его не удалось издалека, похож на современный вроде, только окружен какими-то скалами да водоемами, ну, и цвета все ярче, насыщенней, что ли – и на небе, и на земле. Хотя все вроде то же, что у нас. Я это заметил, а ангел мне говорит:

– Это обычные цвета. Такие были, когда создали Землю. Просто она выцветает, и скоро на ней совсем не будет цветов. Нигде, только здесь.

– Это как, – спрашиваю, – выцветает?

– Обыкновенно, – отвечает. – Время идет, вот и выцветает. А здесь времени нет.

– Подожди, – говорю я. – Так это что же, получается? Этот город мертвых – тоже, что ли, на Земле?

– Да, – говорит. – Только здесь все первозданно, вплоть до оттенков, все как задумано – все, чтобы вечно жить.

Хотел было еще его спросить: мол, как это вообще возможно, что и мертвые, и живые – все соседствуют на одной Земле, да еще и время у них, оказывается, разное. Но тут он говорит:

– Пора прощаться.

– Как же, – удивляюсь, – мы еще до города не долетели.

– Долетишь, – говорит, – когда умрешь. А пока что ты просто спал. Я выбрал тебя, – говорит, – для того, чтоб ты просто знал. И другим рассказал. А то думают, что у нас черт знает, что.

Будь время, я, конечно, объяснил бы ему, что, в общем и целом, я совсем не идеальный кандидат, чтобы быть избранным. Я ж ни с кем почти не разговариваю, как мне рассказать? Да еще чтоб поверили. Я ведь и сам, признаюсь, не поверил.

А вопросы смерти волнуют меня, конечно. Да и что еще меня может волновать? Ну вот кроме Нового года и того, что мы снова будем не вместе. Я где-то прочитал, что смерти боятся те, чья жизнь ничего не стоит. Конечно, неприятно, а с другой стороны – что же, не жить, что ли? Да и если читать все эти умные высказывания, с ума сойти можно – ведь у каждого свой ум, и все друг другу противоречат, а для себя-то каждый из них прав. Вот многие говорят, что там – после смерти – райский сад, что яблоки цветут, лилии пахнут, все в белых одеждах – но никто в это не верит. Хотя это был бы и неплохой вариант. Только и остается гадать, к чему готовиться, чего ожидать, что да как там будет обустроено, и будет ли вообще.

Я ведь не знаю, что там на самом деле. У вас.

Но я согласен буду на все, ты же знаешь. Лишь бы мы могли там встретиться. Неважно как, неважно, все неважно. Кроме того, что люблю.

Твой Матвей».

Заканчивать письма всегда было тяжело: отложив ручку, Матвей Иванович долго смотрел на исписанный лист, но смотрел не вдумчиво, отстраненным взглядом. Свои письма он никогда не перечитывал, не стану этого делать и я – пусть стиль изложения, а также его пунктуация, орфография и прочее останутся на совести автора письма. Вздохнув, наконец, Матвей Иванович подошел к своей «стенке», открыл стеклянную дверцу и замер, чуть склонив голову.

Прислоненная к многочисленным коробкам, заполнявшим все шкафы в доме, на него смотрела старая фотография в деревянной рамке: красивая и строгая девушка, как будто только выпорхнувшая из детства в совершеннолетие, в серьезную взрослую жизнь. Сама рамка была ветхой, и Матвей Иванович каждый раз, глядя на фотографию, боролся с желанием схватить ее и прижать к сердцу – рамка могла попросту рассыпаться. В уголке ее сохранился осколок стекла, который когда-то накрывал всю фотографию и служил защитой от пыли и влаги, но самого стекла давно не было – и со временем изображение деформировалось, пошло волнами, а в верхних углах фотография и вовсе стала заворачиваться. Рамка давно не держала ее, и Матвей Иванович иногда осторожно капал на эти «раны» клеем, прижимал фото большим пальцем и несколько минут так держал, стараясь даже не дышать, чтобы – не дай бог – не повредить ни рамку, ни изображение.

Если бы кто оказался у него дома – пусть это допущение и покажется невероятным – то счел бы, что хозяин либо крайне скуп, либо чрезвычайно беден. Ведь поместить фотографию в новую рамку – пустяковый, в сущности, вопрос. Но Матвей Иванович считал иначе: он *сохранял время*. Нельзя осквернять память, думал он, прижимая угол пальцем, нельзя опошлять то, что дорого. В осколке стекла Матвей Иванович часто видел свое изображение, и ему казалось, что он вновь воссоединяется с далекой возлюбленной, потерявшейся в прошлом. Он так и шептал, глядя на фото: вместе. Рядом с рамкой стояли засохшие цветы – стояли с незапамятных времен, сколько он помнил свою жизнь в этой квартире. Иногда они тоже отражались в осколке, и Матвей Иванович даже пытался улыбнуться, на манер некоторых прилежных отцов семейства: мол, вот жена, вот дочка, вот машина – жизнь как будто удалась. Но, видя свое отражение, переставал улыбаться.

Осторожно, чтобы не задеть фото, он вытащил коробку и поставил на письменный стол. Открыв, начал неторопливо пересчитывать содержимое. Коробка была набита конвертами, и к каждому была приклеена канцелярская записка – желтая, если письмо было написано в обычный день, красная – если в праздник. Так Матвей Иванович поступал со всем, что было у него в доме. А были-то здесь только эти письма и литературные журналы – страсть к упорядочению, которым он ежедневно занимался на работе, подчинила его и дома. Хозяин терпеть не мог не только когда что-то оказывалось не на своем месте, но и когда это «что-то» было не учтено должным образом. Временами он проводил даже небольшие инвентаризации, проверяя, всё ли на месте, хотя и понимал: разве что всемирный потоп способен внести изменения в его домашние архивы. Матвей Иванович, конечно же, не был идиотом, он твердо знал, какие действия, в какой последовательности и с какой периодичностью нужно совершать, чтобы окончательно не тронуться.

Упаковав исписанный лист и открытку в конверт, он заклеил его и наклеил записку. Подумав немного, выбрал желтую: все-таки праздник еще не настал. Подписывать сам конверт не стал: отправлять письмо было некому.

Поддавшись внезапному порыву, оставил коробку, подошел к балконной двери, дернул занавеску, открыл дверь и прошагал на замерзший балкон. Громкий смех – вот что привлекло его внимание: через его двор особо не ходили жильцы других домов, для пьяниц во дворе не было лавок, для детворы – площадок. Только иногда сидели странные парни, слушали музыку из телефона и громко смеялись – этим не нужно было ничего, они могли сидеть на траве летом или на низком металлическом заборчике высотой с птицу-голубя, символически отгораживающем проезжую часть двора. Их музыку Матвей Иванович не любил, вот и сейчас напрягся внутренне: не те ли парни? Жизнь молодежи его напрягала. Себя он, конечно, помнил другим, однако знал, что это, в общем, нормально: те, кто моложе, всегда другие. Но сейчас во дворе смеялись не те парни, и смех был совершенно иным – несколько голосов кричали, перебывая друг друга. О чем-то спорили подростки, на ходу пиная мяч. Видимо, вернулись с позднего футбола, а возле самого входа в подъезд надрылся мужик с сигаретой в зубах:

– Молли! – орал он, постоянно захлебываясь в кашле. – Молли, где ты шлялась? А ну домой быстро! Сколько можно уже черт-те чем заниматься!

Матвей Иванович потерял интерес к происходящему: подростки скрылись в подъезде, к мужику бежала собака – это ее он, оказывается, звал. Скоро все стихнет.

– Жизнь, – ворчал Матвей Иванович, закрывая балконную дверь. Через каких-то пять-десять минут, убрав коробку с конвертами, он будет лежать на своем диване. Любимом? Нелюбимом? Просто том, который у него есть, ведь диван – это не цель и даже не средство. И, выключив весь свет в квартире, кроме маленькой лампы у изголовья, читать очередной толстый журнал, в тишине перелистывая страницы, изредка покашливая и ворочаясь, а иногда поправляя подушку. Мобильник всегда лежит рядом, но на него никто не звонит – так, иногда приходят эсэмэски – оповещения, которые он изредка просматривает. Вчитывается он только в журнальные тексты. Наблюдая со стороны за процессом такого чтения, можно было бы подумать, что оно не кончится никогда, что ни одна сила в мире не способна остановить этот спокойный, уютный, но необратимый процесс, что не нужно Матвею Ивановичу ни есть, ни спать, ни пить воду, ни жить вообще – только читать журналы. Если бы была возможность понаблюдать за этим чтением, можно было бы сказать: оно завораживает. Но такой возможности не было, нет и, наверное, не будет.

Лишь иногда Матвей Иванович покачает головой или – того больше – сплюнет и тихо выругается. Ведь ему нравится далеко не все, что печатают в толстых журналах, хоть и читает он всё. Правда, журналы приходят настолько часто, что он не успевает порой прочитать их все, возвращается, когда высвобождается время. Вот и сейчас, перед самым Новым годом, он добрался до майской еще «Невы», где осталась пара непрочитанных рассказов.

Однако он читал – читал старательно, упорно, даже нелюбимых авторов, читал из уважения к авторитетам журналов, к типографскому труду, да и просто из привычки читать все от корки до корки – как запрограммированный. Матвей Иванович и не задумывался, почему так. Только иногда закрывал глаза, устав от этих журналов, или откладывал их и глядел в потолок, и думал: как скучна жизнь. Как скучны все эти авторы, пытающиеся что-то там... никто никогда не узнает их, чего они там возятся, чего пытаются... Но, прочитав журнал до конца и закрыв его, Матвей Иванович оставался наедине с другим чувством – страхом. Это было в нем с детства: когда заканчивалась интересная передача по радио или ТВ, какой-нибудь фильм, но особенно – книга, наступало мучительное и неизбежное возвращение в реальность. Маленького Матвея словно обдавало ледяным ужасом: от реальности мутило, он не знал, что с ней делать. И сейчас, спустя годы, это знание он так и не приобрел – а ведь сколько прочитал журналов! Ему все так же было страшно *возвращаться*. И тогда он наливал чай, подходил к окну на кухне, не зажигая свет.

«Интересно, задумываются ли они, кто их читатели? Знают ли, что это я?» – проговаривал Матвей Иванович, обращаясь мысленно к редакторам, издателям и другим людям, которых он представлял себе примерно так же, как героев древнегреческих мифов или космических пришельцев – то есть не представлял вообще. Да и не хотел представлять: журнал – это бумага и буквы, журнал неживой, неодушевленный – и потому столь приятный сердцу. Пусть и будет таким, так лучше.

«Может, завести собаку?» – иногда подумывал он, но от этой мысли передергивало, как от удара электрическим током. К горлу подступали воспоминания, голова становилась тяжелой, глаза наполнялись горечью.

Временами Матвею Ивановичу казалось, что она не погибла: он сомневался, ворошил сухие бумажки и неподъемные гранитные плиты памяти, все думал: могло ли сложиться иначе? Остается ли шанс на то, что она выжила? Если мыслить разумно, если мыслить логически, если вспомнить, если все вспомнить...

Как она погибла? Он не знал точно. Все случилось как в песне: «Пьяный врач мне сказал, тебя больше нет». Тогда она была популярна, эта песня, и они слушали ее вместе – все слушали ее. А потом песня перестала быть песней. Он помнил только три слова: ее больше нет. Врач так и сказал, словно по тексту. И он не смог защитить ее, потому что его не было рядом. Впрочем, в памяти хранился и другой случай – когда он рядом был. И тоже не смог защитить. Матвей Иванович хватался за голову и сдавливал ее так больно, как только мог, чтобы не заорать. И он никогда не орал.

И лишь совсем изредка – когда приближался к границе сна и яви (впрочем, это ощущение субъективное) – ему хотелось, чтобы случилось что-то – хоть необычное, хоть обычное, но хотя бы что-то случилось, произошло. Он смотрел на Луну, и к нему приходили странные мысли: вот если бы провести прямую – а что, если такое возможно? почему бы и нет? – между ним, стоящим возле окна, как точкой А, и Луной, как точкой Б, а затем, от Луны спустить новую линию – туда, где она. Ведь где бы она ни пребывала, с Луны это наверняка известно. И что, в конце концов, стоит провести эту чертову линию? Ведь школьные знания по геометрии должны же хоть где-нибудь пригодиться, так пусть помогут нам встретиться, – отчаянно думал Матвей Иванович. Ну а потом, как последний штрих к счастью, останется соединить отрезком точки А и С – его и ее. И наконец, встретиться – в лунном сиянии, пока серебрится снег.

*Ночью мне покоя не дает
Горькая моя вина.
Ночью за окном звенит, поет
Тишина...*

– почему-то всплыла в памяти навязчивая мелодия. Когда-то ее слушали родители, бережно вытащив из полиэтиленовой упаковки черный виниловый диск, и подведя к его краю хрупкую иглу. От мистического соприкосновения рождался звук. Слушал и маленький Матвейка, застывая в почтительной позе. Музыка была церемонией, ее прослушивание планировали, и оно, конечно, было важным пунктом в программе выходного дня. Потом были другие песни, сотни других песен, десятки любимых песен... Но они все ушли, осыпались болезненными листьями с дерева памяти, лишённые главной подпитки – юности.

А эта – осталась. Нет, совсем не случайно услышал Матвей Иванович, проходя мимо чьих-то окон, именно ее.

«Ведь перед Новым годом все возможно, разве нет? – мечтал, задергивая шторы и прощаясь с Луной, Матвей Иванович. – Иначе зачем он, Новый год, нужен?»

28 декабря

Вагон метро, на боковом сиденье которого открыл глаза, дернувшись, словно от испуга, заспанный человек, не был ничем примечателен. Да и человек тоже не был примечателен – ведь это все тот же Матвей Иванович, в шапке с ушами и сползающих очках. Он засунул руку в карман, вытащил телефон, быстро нажал несколько кнопок и отправил телефон обратно. Осмотревшись, увидел нескольких скучающих людей в своем вагоне и таких же, совсем от них неотличимых, – в соседнем. Наверное, и сам Матвей Иванович был тоже не отличим.

Гораздо интереснее был вид за окном, и, чтобы рассмотреть его, Матвей Иванович даже встал и подошел к дверям, уткнувшись в стекло и дыша на него. За окном раскинулось море. Правда, совсем не бескрайнее, это была маленькая уютная бухточка, где нашли пристанище и стояли, не торопясь никуда, прогулочные катера и тут же, рядом, совсем крохотные ялики – и все это на расстоянии нескольких метров от проезжающего вагона, а чуть подальше, в глубине бухты, направлялись в открытое море парусные яхты. На другом берегу зажигались первые огни, хотя еще всюду светило солнце и доносилась сквозь шум вагона приятная музыка без слов. Матвей Иванович вскинул взгляд и увидел чаек, пролетающих прямо над поездом: вот бы открыть форточки – может, одна залетит? Пассажиры вяло поглядывали вперед себя, а затем опускали глаза – они привыкли к этой бухте за долгие, должно быть, каждодневные поездки – привык к ним и Матвей Иванович, конечно, он не раз уже видел море, он знал эту бухту до мельчайших деталей, он помнил, как разбросаны вдоль берега огромные камни, он видел скамейки на набережной, счастливых людей, которые гуляли между торговыми палатками, кричащих зазывал в нелепых фуражках, стилизованных под капитанские. Он знал, что сейчас поезд сделает плавный разворот, и бухта скроется за деревьями, и некоторое время, повернув голову, еще можно будет что-то рассмотреть. Если повезет, блеснет вечернее солнце на чистой воде, а затем взору откроется стена высокой скалы, в вагоне резко потемнеет и включится дополнительное освещение. Ну а затем исчезнет и этот вид – поезд войдет в тоннель, и вместо смеющихся лиц, беззаботных яликов и солнечных бликов на море за стеклом поплывут бесконечные провода, металлические трубы, стальные колеса где-то под ним заскрипят, заскрежешут, и все снова станет простым и бесцветным, как лица пассажиров. Станции возле моря не было, и даже просто так, чтобы «продлить мгновенье», поезд здесь не останавливался, напротив, на этом открытом участке ускорял движение – и Матвей Иванович каждый раз испытывал нестерпимое желание разжать двери, да и выпрыгнуть на ходу, сбросив осточертевшую шапку, уронив – черт бы с ними – очки, кинуться в море с разбегу. Не раздумывая, не соображая упасть в соленую, добрую, мягкую воду. Упасть и пропасть.

Но пути были ограждены, рельсы – наэлектризованы, да и на такой скорости он бы наверняка расшиб голову или попал под встречный поезд. А главное, конечно, что, привыкший к бумагам, к архиву, к дивану, он никогда бы не решился на это действие, которое так выбивалось из общей канвы жизни. Матвей Иванович возвращался на свое место и терпеливо ждал, пока провода за окном сменялись невзрачной платформой, поезд сбавит ход, и в вагоне откроются двери. Тогда он выходил, шел по платформе, вслушиваясь в гул уезжающего поезда, поднимался по лестнице и попадал в подземный коридор, а оттуда на улицу, где уже не было ничего примечательного. И чайки не кружили, и совсем не пахло морем – дули ветра, ругались за место у метро водители бесчисленных маршрутных такси, зазывали торговцы теплым бельем, коченеющие от холода, пахло жирной и вредной пищей. И молчаливой, бесстрастной стеной за всем этим вставали серые дома с окнами-клетками, аптеками и офисами микрозаймов на первых этажах («Зай, возьми взайм», – набрасывалась на прохожих школьница с листовками, и ей шутили в ответ: «Вай! А давай!», так и грелись). Матвей Иванович огибал эти дома, проходил по пустынному скверу, состоявшему из двух треугольников зелени и отрезка – сказать

бы вернее, огрызка – тропы между ними. Иногда к нему мчались, виляя радостно хвостами, местные собаки, и местные хозяева кричали им «фу», что было Матвеем Ивановичу неприятно.

Сам же он здесь не был местным, но прекрасно знал дорогу и прошел бы ее, наверное, с завязанными глазами – хотя обстоятельств, при которых такое могло случиться, и представить не мог. Спустя каких-то десять минут он оказывался там, куда направлялся, отряхивал снег с рукавов, яростно топал ногами, сбивая уличную грязь, стучался, нервно прикрыв глаза, в дверь и, услышав ответ, хватался за ручку.

– Добро пожаловать в гостеприимный дом наш, так сказать, спокойствия, душевного равновесия, где вас всегда поймут, выслушают и ни в коем случае не осудят!

С такой или похожей речью его приветствовал массивный человек с большой рыжей бородой и в белом халате. Человек непременно вставал, отрываясь от своих записей, и шел приветствовать вошедшего, посмеиваясь и покачиваясь, на ходу застегивая пуговицы. Матвей Иванович протягивал руку, скромно потупившись, и даже немного, так, чтобы не нарушать приличий, отворачивался. От человека все время пахло коньячком, а алкоголя Матвей Иванович на дух не переносил. Бородатый долго тряс его руку и что-то приговаривал, и Матвей Иванович ждал обыкновенно, когда же можно будет присесть и отдышаться с дороги.

– Чувствуйте себя как дома, – распоряжался человек в халате, – но не забывайте, что вы в кабинете своего лечащего врача.

Он суетливо доставал из кармана ключ, запирали дверь кабинета и направлялся к шкафчику: за секретной дверцей обнаруживались открытая бутылка коньяка и два бокала.

– За все хорошее? – традиционно кивал на бокалы доктор, и Матвей Иванович так же традиционно отводил взгляд. Тогда один бокал оставался на месте, второй же, вместе с бутылкой, переключивался на стол – бумаги сдвигались, бутылка открывалась, и кабинет наполнялся терпким запахом. Соседний стол был пуст, экран монитора выключен, и Матвей Иванович бросал вопросительный взгляд на доктора.

– Выкладывайте, – доктор изображал романтическую улыбку, а может, и действительно искренне улыбался в предвкушении коньяка. – Все, что беспокоит. На-чис-то-ту! Только ничего не скрывайте, все равно узнаю, – он схватил бокал и сделал пару жадных глотков. – О-о-х! – выдохнул. – До чего жить прекрасно!

...Матвей Иванович сидел без движения, не обращая внимания на эти слова.

– Сегодня мы только вдвоем! Для меня встреча с вами – ну настоящий праздник, – расплылся в улыбке доктор.

Матвея Ивановича слегка передернуло:

– Это почему?

– Ну как же... – доктор обвел руками стол, бокал с бутылкой, но вдруг решил не продолжать. – Ладно. Как ваши дела? Язык-то покажите.

Пациент нехотя высунул язык.

– По утрам чистить надо, вы хоть в курсе? – начал врач. – Налет на языке – очень вредная вещь. Всего-то надо: утром проснулись, взяли столовую ложку и поскребли по языку, туда-сюда, – он смешно двигал рукой перед своим лицом, но Матвея Ивановича картина не впечатлила: он зевнул.

– Ну надо же, какие молчаливые пациенты пошли, – возмутился врач и принялся что-то записывать. – Приходят к доктору и молчат. Оно, конечно, ваше дело – я же работаю, время, как говорится, идет. Но вот пока мы тут сидим и молчим, кому-то может понадобится настоящая помощь. А? Каково оно?

– У меня тоска, – выдавил наконец Матвей Иванович.

– Вы меня не удивляете! – всплеснул руками доктор. – Вы бы хоть пили. Я вот люблю коньяки, хорошие сигары.

– Не могу. Я только чай.

– Чай вреден в больших количествах, – доктор замотал головой. – Может быть рак, это я вам серьезно говорю. Особенно если запивать. А у нас, знаете, все пьют после еды – чай этот. Ожог слизистой рта, пищевода – с гарантией, что называется, с доставкой на дом, – он отхлебнул еще коньяку. – Получите-распишитесь. Мы заливаем желудок чаем и вызываем тем самым мощнейший выброс желудочного сока в пищевод, ну, по-простому, знаете – изжога. Ну а потом вы глотаете таблетки, чтобы эту изжогу сбить, а таблетки, думаете, полезные? – вот так и получается рак нижней трети пищевода. А ожог слизистой рта, когда вы чай пьете? Это все атипия клеток, это все опять же рак. Ну, элементарные вроде бы вещи, согласитесь?

– Все может быть, – растерянно ответил Матвей Иванович. – Но все приводит к смерти, так или иначе.

– Все – это все, – ответил доктор. – А чай – он вернее всего.

– Знаете... – Матвея Ивановича очевидно не интересовала тема чая, и он, наконец, решил сказать, самое важное, зачем сюда и пришел: – А бывает такое, что человек мертв, а ему кажется, что он жив?

– Нет, что вы, – доктор смешно вытаращил глаза, но Матвей Иванович снова даже не улыбнулся. – Скорее, наоборот.

– А у меня вот такой случай.

– У него такой случай, – рассмеялся, передразнивая, доктор. – Ну откуда же вы знаете, какой у вас случай? Вы что, врач, что ли? Ох, подождите, просмеюсь. – Он взял паузу, но, вместо того, чтоб просмеяться, хватил еще коньяку и открыл бутылку, чтобы добавить в бокал. – У вас другой случай, Матвей, как вас там, Иоаннович! Вы здоровый человек в расцвете сил. У которого в порядке все анализы, в норме – представляете! – все показатели. И сердце-то работает как пламенный мотор, и дышите полной грудью, и держитесь ровно, да что там – вы даже не кашляете! А печень... здесь я могу вам только позавидовать, – он покачал головой. – Для вашего возраста идеальные результаты. А депрессия... Вообще, я вам скажу, это у многих – предновогоднее, чего поделаться.

– У меня нет депрессии.

– Это как же? – рассмеялся врач. – Праздники на носу, и нет депрессии?

– Настоящие праздники – это когда чего-то достиг, чего-то добился. А у меня никаких достижений нет. Так, даты на календаре.

– У вас просто скука. Вы скучаете, – предположил врач.

– Я не знаю, что такое скука. Просто живу как умею. Я не хочу скучать! И вроде хотел бы радоваться, или вдохновляться чем-то, но не могу. Я живу ровно и одинаково уже много лет. Но когда подступает Новый год, настроение качается. Эта вынужденная радость, необходимость: вот, в этот день я должен быть счастлив, но не буду – она выбивает почву из-под ног.

– А чего вы не будете? – спросил врач.

– Меня вдохновляла только она. Вдохновляла на жизнь, на праздники.

– Помню, помню... Вы не можете ее забыть, – доктор покачал головой, посмотрел на коньяк, но не стал пить. – Случай сам по себе, конечно, не редкий. Но ведь вы осознаете, – он сделал паузу, – что это произошло двадцать пять лет назад?

Матвей Иванович молчал.

– Послушайте, это нездоровая ситуация, чтобы несчастье случилось двадцать пять лет назад... и человек все не мог забыть. Это, конечно, понятно, но жизнь – она... Она ведь... – доктор испытал странное ощущение, что ему нечего сказать. В голове вертелась какая-то чушь, и он резко захотел сплунуть, но в присутствии пациента не стал.

Матвей Иванович поднес палец ко рту и стал нервно обкусывать ногти.

– Ну, женщины есть, наконец! Вы б с женщиной познакомились!

– У меня на работе одни женщины.

– Вы ж там тележки возите тяжелые, какие женщины? – удивился врач.

Матвей Иванович тягостно вздохнул.

– Вы знаете... Я говорил ведь в прошлый раз. Да и вообще... Моя работа – она не такая.

– А какая?

– Ну, и такая тоже, но и не только такая. Мы, например, занимаемся оцифровкой. Тем, кто в архиве никогда не был, кажется, что там должны быть такие папки с историей человека до пятого колена. А на самом деле все приходится искать. Нужно знать, когда родился человек, – нам заказывают платный поиск. Запросов к нам тьма, все как сумасшедшие, в четыре-пять утра стоят, дежурят по ночам. А нас всего шестеро сотрудников, – он шмыгнул носом и замолчал.

– И все женщины?

– Ну в нашем отделе – да... Кроме начальника. Зарплата, знаете, не очень чтобы большая. Зато Бездушная машина не вызовет в кабинет.

– Ну, это уж не зарекайтесь! – хохотнул врач. – А зарплата? Ко мне же ходите! Значит, позволяет.

– Да мне-то, если честно, зарплата и не так важна. Покой и тишина. Там документы, знаете, в коробках, или бумагой обернуты, чтобы пыли скапливалось меньше. А какие не обернуты – те оборачиваем. То пылесосим их, то реставрируем и обрабатываем от грибка. Температуру надо, влажность поддерживать. А потом данные сверить, заголовки... Если мы ничего не будем делать, кроме оцифровки, на одну нее пятьдесят лет уйдет. У нас миллион дел в архиве!

– Пятьдесят лет уйдет, – помрачнев, повторил врач и зачем-то достал из-под халата массивный крест на толстой цепи. Взял со стола тряпку и принялся протирать крест, временами дыша на него и приговаривая: – Вот неужели вы так всю жизнь и прожили: в одиночестве, в лишениях, без радости? Без дружеского приветливого слова?

– Где мне друзей брать? – пожал плечами Матвей Иванович и вдруг заметил на столе глянецовый журнал. Слегка сморщился и прочитал название:

– Журнал «Счастье»? – переспросил он. – Вы что же, читаете журнал «Счастье»?

– Ну, допустим, не я, – врач все дышал на крест и протирал его. – Помощница. Ей, знаете, интересно, много находит для себя полезного. А вам что-то не нравится? – спохватился он.

Матвей Иванович знал о существовании таких журналов, хотя и не разбирался в них – брезговал. Для него они все были либо о «шоппинге», либо о «пилинге» – он выучил эти два слова как главнейшие из ругательств, которые не должен был допускать не только в речи, даже и в мыслях, любой мало-мальски интеллигентный человек.

– В этих журналах нет жизни.

– Аха-ха, – громко, на весь кабинет расхохотался врач. – А в «Октябре» она есть? Или где там? В «Дне и ночи»? В «Арионе»? Не смешите меня, – попросил он, хотя было уже поздно.

От столь бурной реакции пациент стусевался и замолчал.

– А вы-то, что, почитываете по-прежнему? – врач снова спрятал крест, убедившись, что теперь он чист. – Что вы еще там выписали? «Огни Кузбасса», «Сибирские», или, может, новые какие разгорелись?

Матвей Иванович вспомнил, как перечислял названия журналов на одном из прошлых посещений. Странная избирательность доктора заставила его насторожиться: тот что, смеется, что ли, за его же деньги?

– А что? – спросил Матвей Иванович. – От этого тоже рак?

– Ну что вы! – воскликнул врач. – От этого, как в сказках, слышали: сначала каменеют ноги, потом руки, за ними туловище, а уж потом вы и сами целиком становитесь камнем, – он захохотал.

– Не замечал такого за собой, – ответил пациент.

– Так вы ж за собой совсем не следите. Вот и не замечаете. А вообще, конечно, знаете, я тоже люблю литературу. И о литературе люблю поговорить. Но о хорошей. А хорошей мало.

Вообще литература – это зеркало, – он усмехнулся. – Зеркало души. Ну а на зеркало, как говорится, неча пенять.

– Вот я и смотрюсь в зеркала, – почти прошептал, прикасаясь к сакральному, Матвей Иванович.

– Да, только души кривые пошли... Вот и зеркала покривели. Мой вам совет: не смотрите в кривые души!

– Но что же... – Матвей Иванович ошутимо разволновался. – Что же мне тогда вообще делать?

– Вам нужно чем-то заинтересоваться, увлечься. Найдите какую-нибудь зацепку. Потому что ситуация, конечно, нездоровая, – врач посмотрел на часы, взял со стола бутылку и направился к шкафчику.

– Ситуация нездоровая? – переспросил Матвей Иванович. – Вы врач, и вы говорите, что ситуация нездоровая. Я здесь затем, чтобы это услышать?

Врач остановился, лицо его приняло серьезный и как будто тревожный вид.

– Вы на самом деле давно ее забыли, – сказал он. – Просто не понимаете этого. В какой-то момент своей жизни вы не пожелали идти дальше, остановились. Вы не можете забыть именно это, а не ее.

Матвей Иванович вздрогнул и, сам не ожидая, разозлился:

– Мне нужна таблетка. Не знаю, средство какое-нибудь. Выпишите мне рецепт!

Но тут же успокоился, стих.

– Друг мой! – рассмеялся врач, отпирая дверь кабинета. Прием подходил к концу. – Медицина – это не только таблетки. От таблеток и умереть можно, вы в курсе?

– Умереть от всего можно. Это не страшно. Точнее, страшно... Я очень боюсь умереть. Но не умереть именно... – Матвей Иванович запнулся. – А то, что там. Я боюсь того, что там.

– И какой подход вам ближе? – заинтересованно спросил доктор. – Религиозный? Научный? Вы ведь думаете о том, что там будет.

– Я не религиозный человек. Но самый страшный подход – научный. Что там не будет ничего. Вот этого я боюсь...

– А что же страшного? Вы смотрели фильм «Терминатор»? Экранчик схлопнется с четырех сторон, и все превратится в точку. Точка помигает и погаснет, вот и сказочке конец. Научный подход! – рассмеялся врач. – Научный подход говорит, что если где-то убывает, значит, где-нибудь прибудет. Вы убудете здесь и прибудете где-нибудь еще. Как поезд! Скоростной экспресс!

– Другое дело... – прошептал Матвей Иванович взволнованно. Ему как будто на глазах становилось плохо, он часто задышал и начал покрываться потом. – Другое дело, куда я прибуду.

– А вам-то что? Куда-нибудь да прибудете. Я думаю, что там... знаете, как в песне: я уверен, что у них то же самое.

– Я боюсь... – проговорил Матвей Иванович, сглатывая. – Я боюсь, что мы с ней... Там. Никогда... Не увидимся.

Врач наконец начал понимать, что Матвею Ивановичу становится плохо, и засуетился, резко дернул дверцу шкафа, но вытащил оттуда уже не коньяк, а какие-то маленькие бутылочки, и принялся их судорожно перебирать в руках.

– Мне не хватает кислорода... Кислорода... – пробормотал Матвей Иванович. Он резко побледнел и даже не заметил, как следом за ним побледнел и врач.

– Что ж такое... – бормотал врач. – Что же такое? Где она ходит? Я же ничего не понимаю, ни-че-го здесь не понимаю!

Комната начала переворачиваться, изображение застыло, и Матвей Иванович уже не видел перед собой врача, а лишь смотрел бесконечно сменяющиеся слайды: кабинет, стол,

застывшая фигура у шкафчика, стул, с которого он только что упал, и приоткрывающаяся дверь кабинета – кто там? Кто же там? Он отчаянно посылал импульс в руку, желая протянуть ее, рвануть скорее дверь, не понимая, что не дотянется, и всеми жилами чувствуя, что нужно лишь сделать одно движение – только одно чертово движение. Но слайд в голове уже замер, и вот картинка разделилась на четыре, а те – еще на четыре каждая, все вокруг множилось и уменьшалось, и, протянув руку, можно было лишь разбить все эти маленькие картинки, раздавить, как пчелиные соты, спрессовать или вдарить по ним кулаком – чтоб разлетелись на тысячи дребезжащих осколков. И осколками засыплет его бедную голову, и потечет кровь из ран, и запрыгают, засверкают они на полу, устремляясь в самые дальние углы – под шкафчик, под стол, под ржавую батарею, под плинтус – туда, где рухнула, издав глухой и тяжелый звук перед тем, как надолго успокоиться, голова Матвея Ивановича.

И маленькие картинки посыпались вниз, ускользая с экрана зрения, оставляя лишь черную простыню: она укутала Матвея Ивановича, укрыла его – от всех невзгод и бедствий, от всех страданий и воспоминаний, от троллейбуса на заснеженной улице и моря из окна вагона, от оцифровки пыльных страниц и отошедшего угла на фотографии, от засохших цветов и собак на улице, от наступающего нового года, от недочитанного Данилова – не альтиста, как... когда-то давно, а признанного писателя – в недавнем «Новом мире», оставленном на кухне, и от вас, уважаемого читателя, и от меня. Стало тихо, как Матвей Иванович и любил – но надолго, не навсегда.

– Ну дышите, дышите... Не хватает ему... – услышал он через какое-то время, и чернота начала расступаться. Матвей Иванович хотел дернуться, подскочить, но понял, что ко рту прижата какая-то трубка, причем прижата настолько крепко, что он даже не может шевельнуть головой. Едва начав хоть что-то понимать, он увидел, что массивную трубку к его лицу изо всех сил прижимает хрупкая маленькая девушка в белом халате. Матвей Иванович замычал, и девушка неторопливо убрала трубку, а потом одарила доброжелательной улыбкой и слегка нагнулась к нему:

– Вот и славно, – почти пропела она. – Вот и мило.

«Какой раздражающе ангельский голосок», – подумал Матвей Иванович, мысленно заменив другую, более грубую характеристику, но сама девушка ему была симпатична, сверх того – его не покидало ощущение, что они уже виделись раньше. Голова раскалывалась на части, но Матвей Иванович сделал усилие над собой и присел. Осмотрелся и обнаружил себя на столе, похожем на операционный, посреди небольшого кабинета.

– Вы кто? – выдавил из себя он, чем вызвал странный залиvistый смех девушки.

«О боже, – простонал мысленно Матвей Иванович. – В дурных стихах про таких пишут, в журналах из Кишинева». Девушка была очень приятна собой, невысока ростом, как он отметил, стройна и зеленоглаза, но что за нелепое поведение, что за нарочитая игривость, дурашливость? – наверняка, в каком-нибудь цветастом платье ходит, или хуже того – в горошек. От задорного смеха еще сильнее разболелась голова, но глядя на то, как девушка ведет себя, как пританцовывает возле него, заламывает – будто в театре – руки, закатывает глаза и снова, снова смеется, Матвею Ивановичу захотелось рассмеяться самому. Но он, конечно же, сдержался.

– Вы каждый раз задаете этот вопрос мне, каждый божий раз, – пропела девушка.

– Каждый раз, как что? – удивился Матвей Иванович.

– Как откроете глаза и замычите, да-да, зам-мычите, – повторила она.

– Выходит, я опять потерял сознание?

Матвей Иванович, кажется, начал вспоминать, где он был до того, как погрузился в черноту: картина произошедшего стремительно восстанавливалась, а тут и девушка, приблизив свое лицо к нему – так близко, словно хотела поцеловать, пропела, как будто бы торжествуя:

– Ваш лечащий врач называет это «разволновался», – для убедительности она несколько раз кивнула головой, зачем-то повторила: – Врач, – и снова дико рассмеялась, отстранившись от него и резко вскочив.

– У вас вызывает смех то, что он врач? – спросил Матвей Иванович.

– Ну что вы, – ласково ответила девушка, – У меня вызывает смех все.

– И я? – буркнув это, он сразу понял, что сморозил глупость. Но девушка как будто не заметила:

– И вы, – воскликнула она. – Вы же такой смешной!

– Это плохо, – сокрушенно сказал Матвей Иванович.

– Наоборот! – чуть ли не закричала девушка. – Это же замечательно! Это значит, что с вами весело.

Матвей Иванович не мог поверить своим ушам: в последний раз он слышал это двадцать пять лет назад, тогда... от нее... А может? Может, и нет. Может, он уже слышал это здесь, в этом кабинете, от этой девушки.

– Слушайте! – резко сказал Матвей Иванович. – Мне надо знать. Я часто здесь... вот так?

– Постоянно, – расхохоталась девушка. – Самым что ни на есть постоянным образом! Ой, самой смешно!

Он протянул руку к ней, словно стремясь проверить ее реальность, но тут распахнулась дверь и вошел рыжебородый врач. Кажется, он снова пребывал в приподнятом настроении.

– Варенька! – заголосил он. – Ах ты ж, Варенька моя!

К удивлению пациента, рыжебородый, совершенно не стесняясь его присутствия, схватил девушку сзади, и она – вместо того, чтоб отстраниться, лишь прижалась к нему и – конечно же, рассмеялась. Рассмеялся и врач:

– Так уж вы поняли, Варенька, что сердечку моему захотелось, – довольно сказал он, и девушка замурлыкала в ответ. – Пойдемте, лисичка моя!

– Простите, – застенчиво сказал Матвей Иванович. – Вы не могли бы... со мной все в порядке? – но дверь уже захлопнулось, и врача вместе с Варенькой след простыл. Матвей Иванович удивился, почему врач даже не обратил на него внимания, не посмотрел, но потом – как это часто делал в непонятных ситуациях – подумал: «Ну и черт с ним». Повалился на стол, закрыв глаза и предавшись не отягощенному мыслями отдыху.

«Ну мало ли, что в жизни случается», – подумал напоследок, и только в этот момент его внезапно резануло: «Лисичка моя! Он что же, сказал: лисичка моя?»

Сна больше не было.

Матвей Иванович писал письма часто. Такая была терапия, как он сам тихо себе говорил. Конечно, никакого ответа не ждал, просто нужно было выговориться – он не умел и не желал это сделать вслух. Да и монолог человека в пустой квартире по всем принятым в обществе правилам представлялся чем-то странным, даже безумным, а это имело для Матвея Ивановича значение. Писать и читать представлялось Матвею Ивановичу более естественным для человеческой природы, чем говорить и слушать. Он ничего не мог с этим поделать и очень печалился от того, что в обществе все было наоборот.

«Где ты теперь?» – этот вопрос он задавал в каждом письме, проговаривал его мысленно, глядя на луну из своего крохотного, теплящегося огоньком тусклой люстры окна. Он не верил

ни в Бога, ни в черта, но он почему-то знал, что человек не может исчезнуть просто, что он переселяется, переезжает куда-то, оставляя здесь физическую оболочку, которую с каждым годом все тяжелее носить, все большего внимания требует она к себе, все большего терпения – необходимость тратить жизнь на ее интересы. Матвей Иванович знал по себе, и это при том, что он не болел – просто старел, как все люди, изнашивался, как все тела. Он полагал, что человек – это зреющий огурец или кокон, в котором наливается силами бабочка, что тело по мере того, как вызревает сама личность, сама человеческая единица, перестает исполнять свою функцию, отмирает и в конце концов отваливается. И новая жизненная сила, взрослая в стареющем теле, сила самостоятельная, взвивается над этим миром и мчится в другие – туда, где и начинается *жизнь*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.